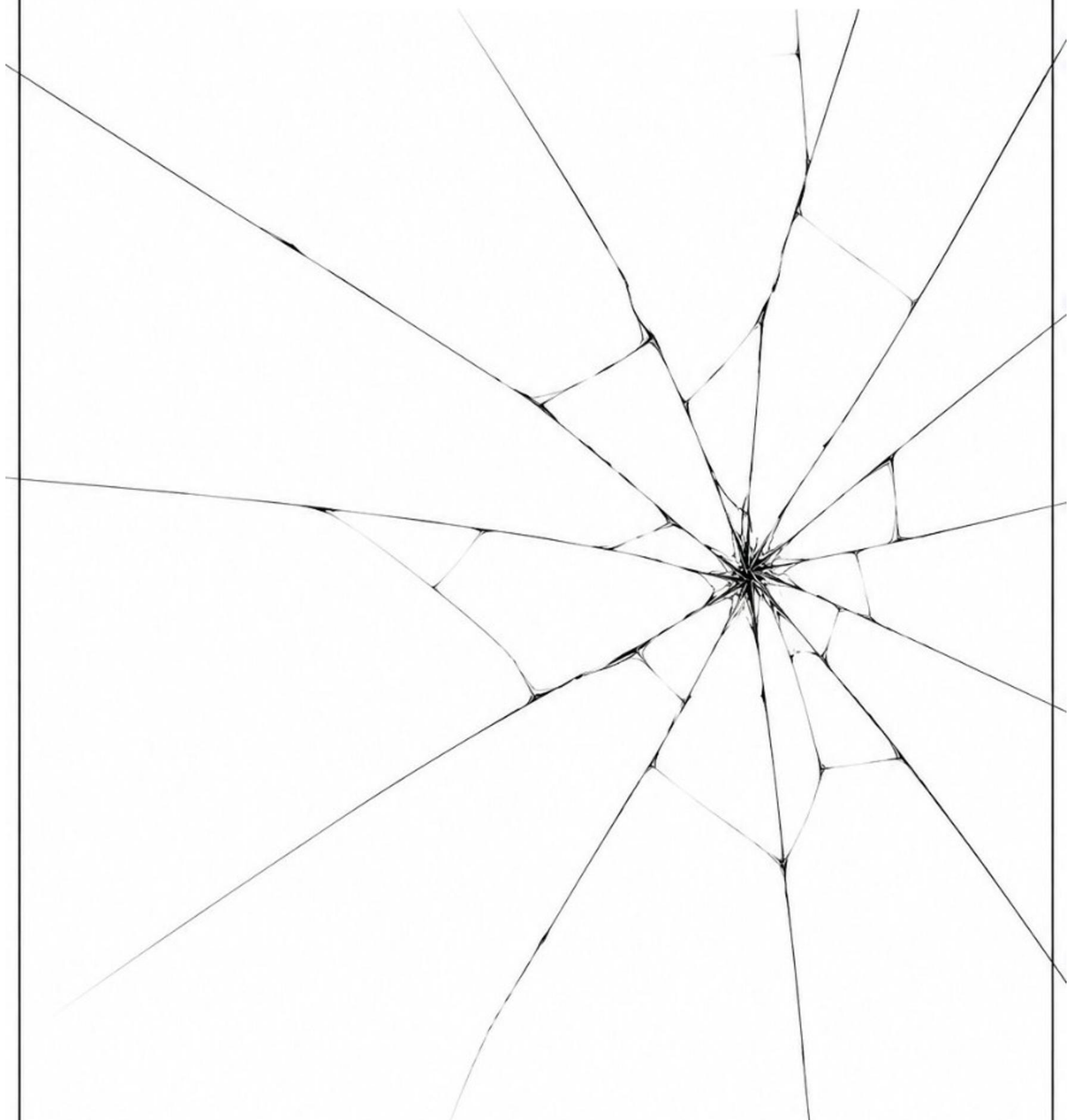


АРЬЕ ГОТСДАНКЕР

ОСКОЛКИ

П О В Е С Т Ъ



Арье Готсданкер

Осколки

«Автор»

2026

Готсданкер А.

Осколки / А. Готсданкер — «Автор», 2026

Похоронив человека, с которым прожила жизнь и которого сама же оставила, Вера открывает его тетради — и не находит в них ни его, ни себя. Свою версию она знала наизусть: вышла по расчёту, а не по любви; он всегда был рядом и всегда отсутствовал; развод был тихим и неизбежным. Чтобы свериться, она идёт по людям — к подруге, хирургу, его единственному другу, его последней жене, своей дочери. Каждый отдаёт ей осколок правды, и прошлое пересобирается заново — пока не выясняется, что человек, которого она бросила, был не тем, кого она придумала; что любовь была, только спрятали её оба; и что винить некого. А это горше любой вины. Книга о двоих, которые любили друг друга и за целую жизнь не сумели сказать этого вслух. О словах, что доходят на жизнь позже, чем нужно. О тихом одиночестве вдвоём. «Эгоизм» и «Осколки» — два свидетеля одного брака: его книга и её, один развод с двух сторон. При жизни эти двое так и не встали рядом — теперь два тома стоят на одной полке, корешок к корешку.

© Готсданкер А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Арье Готсданкер

Осколки

Глава 1

Вера была красива, и это давало ей право выбирать.

Не кокетливо красива, не мило — по-настоящему, той красотой, что входит в комнату раньше человека и сама ведёт переговоры. В девятнадцать она знала ей цену, в двадцать научилась не показывать, что знает, и это удваивало цену. Ей было из кого выбирать. Это надо сказать сразу, чтобы потом было понятно: всё, что случилось, случилось не от безвыходности. У неё был выход. У неё были все выходы сразу.

Первым был гитарист.

Он играл — не для неё, в этом и был яд: он пел так, будто комната пустая, и каждая в этой комнате верила, что наполняет пустоту он ради неё. Длинные пальцы, мотоцикл, который он чинил сам, запах бензина и табака, от которого хотелось делать глупости. Вера делала. Недолго. Она была неглупа даже в том возрасте, когда ум только мешает, и довольно быстро увидела всю их совместную жизнь насквозь: с таким можно прожить ночь, лето, может быть, год. Старость с таким — это сидеть у тёмного окна и слушать, не его ли мотор. Она не хотела всю жизнь слушать, его ли мотор. Она ушла от гитариста сама, первой, и он даже не сразу заметил — допел куплет.

Вторым был лучший жених курса.

Их таких один на поток — про кого матери говорят «вот за такого». Хорошая семья, хорошая кровь, по-настоящему умён, не показно. С ним Вера смотрелась бы правильно: две красивые единицы, составляющие красивую пару, на которую оборачиваются. Все ждали, что она его возьмёт, — и он ждал, спокойно, как ждут заслуженного. Это и была лучшая партия, какую могла сделать красивая умная девушка с её данными. Расчёт говорил — бери. Мать говорила — бери, не дури. Зеркало говорило — вы хорошо смотрите.

Вера его отвергла. Мягко, необъяснимо, к общему недоумению. Сама объяснить не смогла — пробовала, выходило неубедительно даже ей. Что-то в нём было слишком — слишком гладкое, слишком на витрину, рядом с ним она была бы оправой при камне или камнем при оправе, неважно, главное — частью композиции, а не собой. От него пахло будущим, в котором надо держать лицо. Она держала лицо всю юность. Замуж она шла не за тем, чтобы держать его и дальше.

А потом был он. Третий.

Он не был лучшей партией. Это надо сказать честно, потому что Вера сама это знала и выбрала его не вопреки этому знанию, а как-то помимо. Он не блистал. Не пел, не чинил мотоциклов, не заставлял оборачиваться. Хороший — да, надёжный — да, умный — достаточно, но без того избытка, что был у второго. Если бы Веру спросили тогда, почему он, она бы не нашлась. Она и потом не находилась — тридцать лет.

От него шло спокойствие.

Вот единственное, что она могла сказать, и это звучало так бедно, что она стеснялась говорить это вслух. Рядом с ним отпускало. Будто всю жизнь несёшь что-то в обеих руках, на весу, и вдруг есть куда поставить. Он был — как стена, к которой можно прислониться спиной и не сторожить, что сзади. Как взрослый в доме. Как кто-то старший и свой — родной прежде, чем стал знаком, родной авансом, ни за что.

Как отец, которого у неё не было.

Этого она тогда не думала такими словами — такие слова приходят поздно, если приходят. Она просто вдохнула однажды, уткнувшись ему в плечо, и узнала запах, которого не помнила, но знала: запах кого-то, кто не уйдёт. Не любовника — этого. Того, при ком ребёнок засыпает, зная, что дом стоит. У неё такого не было ни дня в детстве. Она нашла это в двадцать лет, в чужом мужчине, и вцепилась — не страстью, страсти не было, а чем-то глубже и тише страсти, чему нет хорошего имени.

И вот что было странно, и что Вера потом, спустя жизнь, считала единственным по-настоящему загадочным своим поступком: она выбрала его, **увидев старость**.

Не молодость с ним — старость. Двадцати лет от роду, с лицом, ради которого мужчины делали глупости, имея у ног весь короткий женский век, когда можно брать сегодняшнее, — она посмотрела на этого негромкого человека и увидела не завтра, а через пятьдесят лет. Дом с участком. Круглый стол, за который помещается много. Седую себя, спокойную, хозяйкой. Внуков летом, шумно, но не страшно. И его — рядом.

Она выбрала мужа по старости, как другие выбирают по сегодняшней ночи. И — вот в чём горечь, которую она оценит только в самом конце, — она почти не ошиблась. Всё сбылось. Дом построился, стол наполнился, дети родились и привели своих, лето приходило каждый год. Картина, которую двадцатилетняя Вера увидела за ним, как за дверью, сбылась до последней скатерти.

Сбылось всё, кроме одного, чего она в той картине не разглядела. Она так ясно видела дом, и стол, и седую себя, что не присмотрелась к мелочи: в этой картине они с ним не разговаривают. Стоят рядом, оба седые, у того самого стола, при тех самых внуках — и молчат. Не в ссоре. Просто им нечего сказать друг другу, и они этого даже не замечают, как не замечают воздух.

Двадцатилетняя Вера разглядела декорацию своей старости идеально. Она не разглядела только, что будет в этой декорации одна — при живом муже, за полным столом, в построенном доме. Одиночество вдвоём не имеет внешних признаков. Его не видно с двадцати лет. Его вообще не видно, пока в нём не окажешься.

Она была сильная — это правда, не комплимент, все вокруг это знали и пользовались этим. У Веры был позвоночник, и звался он простым правилом, которое она вывела рано и держала всю жизнь: не переживать о том, чего не изменить. Случилось — значит, случилось. Слёзы по пролитому — для тех, у кого есть кому подать платок. У неё чаще не было. Она научилась не проливать.

Она не знала тогда, в двадцать, с лицом, ради которого оборачивались, у плеча, пахнувшего отцом, которого не было, — что у этого правила есть дно. Что однажды она запишет в графу «уже не изменить» то, что ещё можно было изменить. По привычке. Из силы. Что самую главную вещь своей жизни она потеряет не потому, что не могла удержать, а потому, что не разрешила себе переживать вовремя — приняв за неизбежное то, что зависело от одного её слова.

Но это будет в середине. А пока ей двадцать, она выбрала, она не ошиблась — она правда не ошиблась, он был свой, — и она утыкается ему в плечо и думает: вот. Этот не уйдёт.

Он и не ушёл.

Тридцать лет не уходил.

Только обнять не умел — как не умел бы и отец, которого она по нему достроила. Свод держал. Рук не было.

Глава 2

После похорон ей не досталось даже горя.

Это надо сказать сразу, потому что дальше всё будет про это горе — на которое у неё не было права. Горе раздали заранее, между теми, кому оно полагалось. Вдовой числилась Кира — молодая, прямая, с тем спокойствием, которое Вера не сразу научилась читать и которое оказалось не холодностью, а чем-то посложнее. Горевали дочери, по-своему, трудно — не столько по отцу, сколько по отцу, которого им задолжали. Даже у второй, у Алины, было законное место в первом ряду, своя промокшая салфетка, свой сын. А Вера была первой женой из жизни, которая кончилась тридцать лет назад, — и на таких на похоронах смотрят с осторожным состраданием, как на старый сервант от прежних хозяев: и неуместен, и выбросить неловко. Её усадили во втором ряду. Она просидела всю панихиду прямо, с сухими глазами, потому что плакать на людях было не её, никогда не было, — а сухие глаза на похоронах читаются либо как сила, либо как чёрствость, и пусть читаются как хотят.

А потом, у гардероба, Кира догнала её и отдала коробку.

Картонную, перевязанную шпагатом, завязанным его узлом, — она узнала узел сразу, он всё на свете вязал одним узлом, и бельевую верёвку в Переделкине, и ёлку к багажнику «шестёрки». На крышке его почерком, крупно, стояло одно слово: её имя. Кира сказала, что не открывала, и Вера ей поверила — у этой хватило бы и права, и любопытства, и она не открыла, и в этом тоже было что-то, чего Вера тогда не стала додумывать.

Под шпагатом лежали четыре тетради.

Она прочла их за зиму, и лучше бы не читала. В тетрадях была их жизнь — та, которой не было. Он сочинил её всю, до мелочей: как сидел у её постели в ночь перед операцией и держал за руку до самого наркоза; как они состарились вместе в доме с террасой; как однажды сказал ей то, чего не говорил никогда. Целая жизнь, выстроенная человеком, который в настоящую ночь перед той операцией отвечал на письма в коридоре, — и выстроенная так подробно, с такой тоской по тому, чего он сам не дал, что Вера всё читала и ждала, где же он соврёт, где себя пощадит. Он не пощадил ни разу. Он написал правду о том, чего не было, — и тем доказал, что мог. Что всё, чего ей не хватило, лежало в нём, целое, до последнего дня; просто он не доставал — как не доставают парадный сервиз, копя его для случая, который так и не наступает.

Вот этого её правило не выдержало.

У неё было правило, выведенное рано и крепкое, как позвоночник: не переживать о том, чего не изменить. Случилось — значит, случилось; слёзы по пролитому — для тех, у кого есть кому подать платок. Это правило держало её всю жизнь. И только теперь, над его тетрадями, оно дало трещину — потому что выяснилось, что в графу «уже не изменить» она когда-то по привычке, не разобравшись, записала то, что ещё можно было изменить. Что главное в своей жизни она потеряла не потому, что не могла удержать, а потому, что не разрешила себе вовремя переживать.

И тогда она начала ходить по людям.

Это было на неё не похоже — навязываться, напрашиваться «просто поговорить». Всю жизнь она была той, к кому приходят, а не той, кто приходит. Но что-то в ней сместилось, и теперь она звонила старым знакомым, заходила, сидела у них на кухнях дольше приличия и говорила, говорила — о нём, всё время о нём, к их вежливому недоумению. Она, которая один-единственный раз в жизни не пришла, когда надо было прийти, — теперь приходила ко всем. Если бы кто-нибудь назвал это вслух, она бы услышала: каждый чужой звонок в дверь был платой по старому долгу, тому самому, неоплаченному, по которому уже некому было получить. А по ночам, когда ходить было не к кому, она садилась и писала — ему; письмо без адреса, которое всё не кончалось и понемногу переставало быть письмом.

Тома была первой.

Не потому что ближе всех — ближе была не Тома. Потому что не страшно. К Томе можно было прийти в любом виде, в любом году, с любой бедой, и Тома не подняла бы бровь: она сама прожила жизнь так, что давно сносила всякую способность удивляться чужому. Три замужества, два развода, третий муж где-то на даче — не то ещё муж, не то уже нет; квартира, забитая вещами с трёх жизней; на холодильнике детские рисунки внуков под магнитами в виде фруктов; сама Тома — крупная, шумная, с волосами цвета, которого не бывает в природе, в халате с драконами, привезённом из Турции в год, когда из Турции везли халаты с драконами. Она открыла дверь, ахнула, обхватила Веру всю, обдала кремом и сигаретами и сразу потащила на кухню ставить чайник, и не было в ней ни грамма той осторожности, с какой Веру встречали все остальные. Для Томы Вера не была вдовой-не-вдовой, сервантом от прежних хозяев. Для Томы Вера была Веркой с экономического, и точка.

Тома говорила о себе — долго, с удовольствием, ничуть этого не стыдясь: про третьего, который оказался не лучше второго, только тише; про спину; про то, что внучка пошла в музыкалку и бросила, вся в деда; про соседку. Вера слушала вполуха, кивала, держала кружку, и где-то на дне, под горем, под тетрадами, шевелилось знакомое, давнее, нехорошее — лёгкое, почти незаметное превосходство. Тома всё та же. Тома прожила свою жизнь наотмашь, с тремя мужьями и двумя разводами, с этим халатом, с этими магнитами, — и осталась всё той же громкой неприбранной Томой, у которой ничего никогда не было всерьёз. У Веры всё было всерьёз. У Веры был дом, и стол, и порядок, и одна выдержанная жизнь от начала до конца. То, что эта выдержанная жизнь привела её на чужие похороны во второй ряд, а оттуда сюда, на Томину кухню, с картонной коробкой непрожитого, — этого превосходство в расчёт не брало. Превосходство вообще ничего не считает.

Когда Тома наконец выговорила и спросила — а ты-то, ты как, рассказывай, — Вера стала рассказывать. Свою версию. Ту самую, выношенную за тридцать лет, отглаженную до того гладко, что она и сама в неё давно верила. Что вышла за него не по любви, нет, — по чему-то спокойнее любви и надёжнее. Что он не был лучшей партией, и она это знала, и выбрала его не вопреки, а как-то поверх: за то, что от него шёл покой, что рядом с ним отпускало, что он был как стена, к которой можно прислониться. Что выбрала, в сущности, не его, а старость с ним — дом, стол, седую себя, — и почти не ошиблась, всё сбылось, только в той картине они под конец молчали. Она говорила это ровно, отстранённо, чуть иронично — так она говорила о больном всегда, чем суше, тем целее, — и выходило красиво и горько: история о женщине, которая выбрала разумно и проиграла именно разуму.

Тома слушала, подперев щёку. А когда Вера дошла до «не по любви», поморщилась — как морщатся, когда при тебе перевирают песню, которую ты знаешь наизусть.

— Слушай, — сказала Тома. — Ну вот это вот ты кому рассказываешь.

— Что — это.

— Да вот это всё. Покой, стена, прислониться. — Тома махнула рукой с папиросой, которую так и не закурила. — Ты по нему с ума сходила. Веруня. Ты по нему сохла так, как по гитаристу своему не сохла, а уж тот-то был картинка. Ты что, правда не помнишь?

Вера сказала, что не помнит, потому что нечего было помнить, потому что Тома, как всегда, всё путает и перекрашивает в свои цвета. Но Тома уже не слушала — Тома вспоминала, и в этом не было ни мудрости, ни умысла, была только старая, чуть ленивая радость человека, который помнит чужую молодость лучше, чем тот, чья это молодость.

Она помнила, как Вера стояла у окна на пятом этаже и караулила его во дворе — его, в этих его ботинках с картонкой вместо подметки, в курточке не по сезону, — стояла и делала вид, что просто смотрит на улицу, а сама ждала, не мелькнёт ли. Она помнила, что Вера знала его расписание лучше своего: где он по вторникам, когда у него последняя пара, по какой лестнице пойдёт. Он-то, дурачок, думал, что это он её подстерегает — на ступеньках, запыхавшись

ровно настолько, чтобы вышло невзначай. А она подстерегала его. Просто она это умела прятать, а он нет.

И помнила Тома ещё одно, главное, чего Вера велела ей не помнить.

— Ты ж с меня слово взяла, — сказала Тома почти весело. — Ну теперь-то можно, тридцать лет прошло, его и нет уже, царствие небесное. Ты тогда напилась — один раз за всю общагу напилась, на чьём-то дне рождения, — и сидела у меня ночью, редела и говорила: Томка, я, кажется, попала. По-настоящему. И мне, говоришь, стыдно. Я тебя спрашиваю — стыдно-то чего, дура, радоваться надо. А ты: того и стыдно, что он — никто. Таксист в картонных ботинках. Что у меня жених на курсе — золото, кровь, семья, и гитарист, по которому весь поток сохнет, а я выбрала вот этого, безответного, нищего, и люблю его так, что выть хочется, и кому ни скажи — засмеют. Красавица — и на тебе. И велела поклясться, что никому. Что будешь всем говорить — помогаю мальчику, пропадёт без меня. Из жалости вожусь. А не из этого.

И, сказав это, Тома потянулась за печеньем, потому что для неё это была старая, давно остывшая сплетня — история про молодую дурочку, каких тысячи; и она не заметила, не могла заметить, что только что переломила Вере хребет ровно по той трещине, которую оставили тетради.

Вера не заплакала. Она сказала, что Тома, как обычно, помнит всё немного не так: и день рождения путает, и плакала Вера тогда не поэтому, а ещё неизвестно, плакала ли, — и вообще пора, поздно, у Тома спина, ей рано вставать. Она собралась быстро и сухо, и Тома, добрая, ничего не понявшая Тома, обиделась самую малость, что так скоро, и навязала ей печенья и банку чего-то на дорогу, и расцеловала в дверях, и сказала: ты заходи, Веруня, ты не пропадай. Вера обещала. Превосходство, маленькое и стыдное, держалось в ней до самой лестницы — Тома всё та же, Тома всё перепутала, — держалось ровно затем, чтобы не дать упасть тому, что уже падало.

Упало оно в машине.

Она сидела на пустеющей к ночи парковке, не заводя двигатель, смотрела прямо перед собой, и тридцать лет аккуратно выглаженной истории сползали с неё, как сползает простыня. Она не выбирала его по старости. Это было враньё — самое долгое, самое удачное враньё её жизни, потому что обмануть им она успела только одного человека, зато наглухо: себя. Она **любила** его. Тогда, в двадцать, с лицом, ради которого оборачивались, — любила этого нищего безответного мальчика так, что выть хотелось, как и проговорила когда-то спяну Томе. И испугалась не его — испугалась этой своей любви. Потому что любить снизу вверх гордая красавица ещё может, это даже красиво; а любить сверху вниз, всерьёз, до воя, того, кто ниже, — стыдно, унижительно, не по чину. И она спрятала. Переписала горячее в холодное. Назвала любовь расчётом, выбор сердца — выбором разума, и носила этот наряд так долго и так ровно, что под конец сама забыла, какое под ним тело.

Не холодный муж и тёплая жена. Двое, предавших своё чувство, — каждый по-своему, каждый насмерть. Он молчал от немоты, она молчала от гордыни, и оба всю жизнь были уверены, что холодный в паре — другой.

Ему всю жизнь не хватало рук: он держал свод, а обнять не умел.

А у неё руки были.

Она просто их сложила. И тридцать лет держала сложенными — чтобы никто, и она сама, не увидел, как сильно им хочется обнять.

Глава 3

Из всех, к кому она могла пойти, врач была единственной, кого нельзя было упрекнуть в пристрастии.

У остальных были стороны. У друзей, у родни, даже у доброй Тома — у всех, кто знал их двоих, была своя версия с героем и виноватым, и Вера, приходя, всегда заранее знала, чью сторону ей сейчас бережно подадут к чаю. А у хирурга стороны не было. Хирург видела их недели три, двадцать лет назад, и ей не было никакого расчёта ни льстить Вере, ни щадить его. Что бы она ни вспомнила — это было бы не утешением, а свидетельством. И именно поэтому Вера так долго к ней не шла: утешение можно не принять, от свидетельства не отвернёшься. К Томе она пошла второй, потому что Тома была не страшна. К врачу — много позже, потому что врач была страшна именно тем, что ничего от Веры не хотела.

Нашла она её не сразу. Хирург давно не оперировала — за семьдесят, на покое; Вера добралась до неё через клинику, через бывшую регистратуру, через цепочку «а, эту, кажется, она теперь...». Нина Захаровна жила одна, в квартире, где порядок был не уютом, а профессией: ни одной лишней вещи, книги по корешкам, на стене — диплом и две фотографии незнакомых людей с подписями благодарности, и больше ничего личного, как будто личное было оперировано и удалено вместе с остальным, что мешает работе. Она открыла дверь, посмотрела на Веру поверх очков долгим оценивающим взглядом, каким смотрят на снимок, и Веры в этом взгляде не было — ни тени.

— Простите, — сказала Нина Захаровна без улыбки. — Не помню. Вы по какому поводу.

Вера назвалась, напомнила — год, диагноз, операция. И тогда что-то сошлось: врач сняла очки, и в лице её проступило узнавание — но узнавание не Веры.

— А-а, — сказала она. — Вы жена того мужчины. Которого ни на минуту нельзя было отослать домой. Помню. Его помню.

Вот так. Двадцать лет, чужая женщина, на покое, всё забыла — а его помнит. Веру опознали через него, как опознавали всю жизнь, как опознают оправу через камень. Она проглотила это и прошла на кухню, где Нина Захаровна уже без церемоний ставила воду — не из радушия, а потому что так заведено: пришёл человек — налей.

Кухня была такая же выскобленная. Над столом висел отрывной календарь, отстававший на неделю, — единственный беспорядок во всей квартире, и от него почему-то делалось тоскливо: значит, последние дни были все одинаковые, и листать стало незачем.

Вера начала так, как привыкла начинать у всех, — со своей версии. Ровно, отстранённо, с той сухой иронией, которой она научилась прикрывать больное: пришла, мол, поговорить о прошлом, столько лет прошло, странная, наверное, просьба; они с мужем давно... в общем, всё было непросто, он был человек закрытый, заботливый, но холодный, и она долго пыталась понять, чего ей в той заботе не хватало. Она подавала это красиво — выношенная за двадцать лет, отглаженная горечь, история о тонкой женщине, которой недодали тепла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.